

## О ВЛАДИМИРЕ АБРАМОВИЧЕ РОХЛИНЕ

В. И. Арнольд

Я познакомился с Владимиром Абрамовичем Рохлиным на семинаре по эргодической теории в МГУ, куда он приезжал еженедельно из Коломны, где ему позволяла жить прописка. Приезжая в Москву, Рохлин обычно ночевал у друзей на раскладушке. Но утром он требовал называть ее иначе: «Это вечером она раскладушка, а сейчас — складушка».

Гораздо большее влияние оказало на меня то, что в течение более десяти лет мы ежегодно жили рядом на даче на Николиной Горе и часами разговаривали обо всем на свете, обычно гуляя по берегу Москвы-реки, часто в окружении других жителей Заречья — Ефимовых, Шиловых, Шура-Бура, Якобсонов, Кушниренко, Поманских. Синай приезжал с канистрой за водой, так как в соседнем Ново-Дарьине тогда не было водопровода.

По определению Куранта, математик должен считаться молодым, пока он склонен говорить о математике в самое неподходящее время. Берег Москвы-реки на Николиной Горе делался летом своеобразным филиалом мехмата, полным молодых математиков всех возрастов.

При разговоре с Владимиром Абрамовичем меня не оставляло ощущение общения с высшим разумом, знающим окончательные и самые правильные ответы на все вопросы, ощущение непререкаемого апломба, которое не создавалось, пожалуй, никем другим из знакомых мне людей. Быть может, только Дьедонне обладал подобной же уверенностью суждений, но он был слишком очевидно неправ и излишне волновался при возражениях (видимо, вследствие своеобразного комплекса неполноценности, совершенно не свойственного Рохлину).

Внешностью и значительностью Владимир Абрамович Рохлин напоминал мне Корнея Ивановича Чуковского, который бывал у нас на Арбате (он был школьным другом брата моей бабушки,

---

Предварительный вариант текста, опубликованного в книге *В.А.Рохлин. Избранные работы. Воспоминания о В.А.Рохлине. Материалы к биографии*. МЦНМО, 2010.

Б. С. Житкова, и оставил об обоих интересные воспоминания). Много позже Владимир Абрамович рассказал мне, что это сходство — не случайность: Рохлин и Чуковский — близкие родственники.

Если в разговоре апломб Рохлина мог, вероятно, раздражать собеседников (не меня — я всегда слушал его с благодарностью), то его лекциям именно этот апломб придавал неповторимое очарование. Особенно замечательными были лекции В. А. по топологии, совершенно изменившие мое представление о том, что такое хорошая лекция.

Великий популяризатор науки Фарадей говорил, что лекции, которые действительно популярны, никогда не бывают поучительными, а поучительные — никогда не бывают популярными. Рохлинские лекции соединяли оба достоинства. Возможно, именно поэтому книга, написанная после этих лекций Д. Б. Фуксом (тоже блестящим лектором), на мой взгляд, сильно проигрывает лекциям; в письменном тексте хочется уместить больше, и это мешает читателю следить за главным.

В отличие от Колмогорова, которому почти никогда не удавалось закончить начатое предложение (не говоря уже о доказательствах), Рохлин свободно пользовался речью и никогда не прятал идеи за вычислениями (что случалось порой с его учителем Л. С. Понтрягиным, блестящие лекции которого меня иногда все же усыпляли). Рохлин выходил к доске, брал в руки мел и начинал говорить. Минут через пять он решал использовать доску и писал на ней какую-нибудь букву ( $A$ , если шла речь о кольце,  $M$  — о многообразии и т. д.), но затем, через минуту, стирал написанное, видимо, чтобы не отвлекать внимание слушателей от дальнейшего изложения буквой, относящейся к уже прочитанной части лекции.

Слушатели (которым всегда не хватало места в аудитории — на лекции Рохлина ходили и младшекурсники, и аспиранты, и преподаватели) с восторгом внимали проповедям Великого Мастера. Ведь наука, о которой рассказывал Владимир Абрамович, была чуть ли не запрещена на факультете (или, во всяком случае, не излагалась в доступных студентам курсах) уже лет тридцать. Топология на мехмате допускалась лишь патологическая (здесь и сегодня сохраняется специальная кафедра патологической топологии, вероятно — единственная в мире).

В качестве курьеза, показывающего, насколько мы были тогда оторваны от всего мира, укажу на сохранившееся в сборнике переводов «Расслоенные пространства» замечание, что изображение спектральной последовательности при помощи прямоугольников из групп, в которых последовательные дифференциалы действуют

обобщенным «ходом коня», принадлежит Е. Б. Дынкину (так что соответствующие рисунки в примечаниях к переводу называются диаграммами Дынкина). Когда я оказался в 1965 г. во Франции, то я спросил Серра, знает ли он об этом усовершенствовании теории. Серр долго смеялся — а как же еще можно было проводить вычисления со спектральными последовательностями? Справедливости ради следует отметить, что во французских публикациях (совершенно необходимых читателю) диаграмм не было — возможно, для того, чтобы сделать теорию непознаваемой для непосвященных (но скорее, по обычной беззаботной французской *users-unfriendliness*).

Лекции Рохлина последовательно раскрывали все подобные маленькие секреты: Владимир Абрамович прекрасно понимал, что, как бы ни была велика формальная экономия времени при дедуктивном изложении «от общего к частному», содержание лекции для обучаемого не больше, чем набор хорошо и до конца понятых примеров. Отношение к примерам у Владимира Абрамовича было столь же уважительным, как у индуктивно мыслящих физиков (начиная с Ньютона), а не как у большинства современных математиков (Д. Сулливан как-то сказал мне, что он всегда избегает рассматривать конкретные примеры — уж слишком они сложны).

Рохлина же отличало совершенно сознательное обращение и с примерами, и с общими теориями, основанное на чисто прагматическом подходе к делу. «Всего полезнее циклы, — говорил он, — но циклы — это нижнее белье, которое нельзя показывать людям: в статьях оставляют одни только классы гомологий».

Мнение Рохлина о многих из окружавших нас математиков и их математических теориях было настолько же пронизательным (как я вижу сейчас), насколько тогда оно мне казалось незаслуженно резким. Правда, я неоднократно слышал от П. С. Александрова, что «высшая научная степень в нашей стране — докторская: все, что выше, имеет мало отношения к научным заслугам». Но в некоторых случаях (например, по отношению к А. Н. Колмогорову и Л. С. Понтрягину) Рохлин был гораздо более снисходителен. Определенностью мнений и прямотой их выражения Рохлин резко отличался от почти всех известных мне математиков, и именно в этом я считаю себя его учеником. Сам же Рохлин считал, что унаследовал эти свойства от своего учителя Л. С. Понтрягина, следовавшего в этом, как известно, примеру Бенвенуто Челлини.

Когда в 1961 г. Милнор приехал на ленинградский Всесоюзный математический съезд и рассказал о нестандартных гладких структурах на сферах, общематематическое значение прогресса в топологии не патологического толка сделалось очевидным даже математикам старшего поколения, игнорировавшим все, что произошло в этой науке после 1935 г. (вследствие пятнадцатилетней практически полной изоляции русской математики от западной). Рохлин оказался в это время чуть ли не единственным в России математиком, активно участвовавшим во всемирных усилиях по завоеванию этого нового математического континента. «Современная математика, — говорил он мне, — подобна очень закрытому аристократическому клубу: кроме огромного вступительного взноса от его членов требуется еще большой ежегодный».

Мой научный руководитель А. Н. Колмогоров под влиянием доклада Милнора посоветовал мне (бывшему тогда аспирантом) включить сферы Милнора в мой аспирантский план (он предполагал в дальнейшем узнать у меня, что происходит в топологии). По его совету я начал учиться дифференциальной топологии у Д. Б. Фукса, С. П. Новикова и В. А. Рохлина и через год был уже оппонентом на защите кандидатской диссертации Новикова о дифференцируемых структурах на произведениях сфер. Найти оппонента старшего поколения оказалось невозможным, так как уже слова «точная последовательность» создавали для наших тогдашних профессоров неодолимое препятствие.

Уровень понимания «современной математики» на тогдашнем мехмате характеризует следующий эпизод. Когда я начал объяснять Колмогорову, «что происходит в топологии», он сказал в ответ, что его четыре заметки 1935 г. в *Comptes Rendus* (в которых он ввел кохомологии, одновременно с Александером, но исходя из идей физики — гидродинамики и теории электромагнетизма) остались незамеченными и не оцененными топологами. «Дело в том, — сказал он, — что я определил в этих заметках не только *группы* кохомологий (которые все поняли), но и *кольцо*. Если бы топологи обратили на это кольцо (хоть сейчас) внимание, то, думаю, они смогли бы получить новые интересные результаты».

В то время как я с наивной непримиримостью безуспешно пытался исправить представления Андрея Николаевича о математическом мире, Владимир Абрамович неожиданно проявил в этом случае необычную для него терпимость. «Оценка кохомологического умножения, данная Колмогоровым, — сказал он мне, — замечательна вдвойне: и как свидетельство правильного понимания

относительного значения своих достижений, и как предвидение роли когомологических операций вообще!»

Владимир Абрамович как-то умудрялся соединять опасную безапелляционность суждений с необыкновенным и явным чувством собственного достоинства, невольно вызывавшим уважение даже и у его врагов. Быть может, это связано с тем, что, в отличие от огромного большинства своих сверстников и старших коллег, Владимир Абрамович избежал тех унижительных компромиссов с властью, которые отравляли жизнь целых поколений наших соотечественников. Конечно, выжил он чудом и занимал в официальной иерархии советских математиков незаслуженно низкое место (будучи в действительности, несомненно, нашим лучшим математиком своего поколения, оказавшим вдобавок огромное влияние на все последующее развитие математики в России). Но в отличие, скажем, от А. Н. Колмогорова и Л. С. Понтрягина ему не в чем было себя упрекнуть по большому счету (и это как-то роднило его с И. Г. Петровским, также вызывавшим невольное уважение даже у своих врагов).

В отличие от Петровского, Рохлин переболел коричневой чумой нищезанятия: его друзья вспоминают, что перед войной ему очень импонировал Гитлер — и своей решительностью, и своими успехами.

После длительного пребывания во Франции и Германии я уже меньше удивляюсь точке зрения молодого Рохлина: Франция едва не ступила на нацистский путь в 1933 г., нынешние французы в большинстве считают, что Гитлер победил Россию во Второй мировой войне, но был (как я недавно узнал от моих французских коллег) затем побежден Францией под командованием де Голля. В немецких школах детей и сейчас учат буквально следующей версии: «Победители в Первой мировой войне поставили Германию в тяжелое экономическое положение. Гитлер спас ее, но совершил ошибки во внешней политике, что и привело к поражению Германии во Второй мировой войне». В Бонне случайным опросом прохожих я выяснил, что «Адольф не позволил бы теперешнего беспорядка» и что его правление — лучшие годы Германии. Дюссельдорфская старушка на вопрос: «Какая это улица — Адольфа Гитлера или графа Адольфа?»<sup>1</sup> — ответила: «Адольф это заслужил» (т. е. Гитлер заслужил графский титул).

---

<sup>1</sup>Улица графа Адольфа в центре Дюссельдорфа соответствовала бы в Москве улице Юрия Долгорукого.

Что ж тут удивляться распространению прогитлеровских идей в современной России, в том числе и среди математических образованцев! Рохлина, по-видимому, излечил от прогитлеровских иллюзий немецкий концлагерь (а сталинский довершил его воспитание).

Живо представляю себе, как молодой Владимир Абрамович (по воспоминаниям сокурсников) выходит вечером, потягиваясь, из библиотеки института Стеклова со словами: «Сегодня плохой день — всего семь теорем доказал!»

Наши многочасовые беседы с В. А. обычно носили характер его монологов, и я получил из его рассказов массу полезной информации не только о теоремах, идеях и направлениях математики (например, «главная идея современной топологии состоит в эксплуатации тех упрощений, которые достигаются при переходе к бесконечномерному пространству», — в то время как я всегда старался заменять эту актуальную бесконечномерность многомерностью аппроксимирующего функциональное пространство многообразия).

От него я узнал также о мрачных нравах, царящих в мире математиков, в котором мне предстояло жить. Сейчас меня даже удивляет, насколько серьезно Рохлин относился к тому, что вежливо называется «нарушениями научной этики» (и что я привык называть беззастенчивым воровством, особенно у наивных русских авторов, способных рассказывать о своих идеях, не публикуя доказательств или публикуя их в русских журналах).

В то время мне казалось, что Колмогоров, например, относится к подобным случаям (постоянно с ним происходившим) с царственным безразличием. Но Рохлин объяснил мне, что это — лишь хорошее воспитание и самообладание: каждый такой случай оскорбляет любого математика и тем более укорачивает его жизнь, чем меньше он это показывает.

Именно у Рохлина я научился тонкому различию между техническими достижениями в стиле Америго Веспуччи и действительно кардинально новыми парадигмами колумбовского стиля, которые он ценил выше любых «спортивных» достижений (вроде решения проблемы четырех красок или проблемы Ферма).

«Есть очень талантливые математики, — говорил мне В. А., — которые всегда стоят на подхвате и, как только появится новая идея, умеют оценить ее и успевают настричь с нее больше дивидендов, чем автор». Только позже я увидел, насколько прав был Владимир Абрамович: несть числа результатам (особенно русских авторов), приписанным международными шайками эпигонов своим приятелям. Особенно поразила меня прозорливость В. А., когда я застал троих из названных им специалистов по подхвату на новых

акциях того же рода (не по отношению ко мне): видимо, американизированная этика современного математического сообщества совершенно не наказывает за подобные преступления (в России подобным людям не подавали бы руки).

Теперь я понимаю, что в этой аморальной системе есть своя целесообразность: обществу полезна деятельность дельцов, быстро развивающих новые идеи. Мало кто знает, что процветание телефонной компании Bell основано на украденном изобретении (приоритет Antonio Meucci, заявка которого «была потеряна» представителем Western Telegraph, которому Bell обещал выплатить 20% своих дивидендов, был признан Верховным судом в 1886 г., т. е. после того, как срок действия заслуженного Meucci патента уже истек).

Я мог бы привести много подобных примеров из области математики, где патентов нет и где в роли Meucci оказываются Андронов, Петровский, Понтрягин, Колмогоров, а в роли Bell — очень влиятельные математики Запада. Сошлюсь только на недавнюю скандальную публикацию B. Arratin, A. Barbour'a, S. Tavaré «Random Combinatorial Structures and Prime Factorization» в Notices AMS (1997), 44 : 8, 903–910, нагло экспроприирующую важную теорию ученика Рохлина, А. М. Вершика.

Если я взял себе за правило не замалчивать подобные преступления (как это делают остальные русские математики, из естественного чувства самосохранения и вследствие финансовой зависимости от западного математического сообщества), то это не только по своей всегдашней склонности, но и во исполнение заветов Рохлина, считавшего, что такая ситуация создается только потому, что преступники знают, что останутся безнаказанными.

И действительно, у самого меня не крадут (видимо, боятся), хотя почти все мои учителя, ученики и коллеги и обокрадены и недооценены Международным математическим сообществом. Впрочем, я слышал, что в последнее время и Нобелевский комитет стал не более объективным, чем Филдсовский (на это обстоятельство обратил мое внимание С. Смейл еще до присуждения Нобелевской премии по физике за 1997 г. за открытие, опубликованное, по официальным данным, в России лет на десять раньше, чем лауреатом).

Рохлин учил меня, что существует два способа обезопасить себя от подобных неприятностей: либо не сообщать о своем открытии никому и ничего, пока все не будет полностью опубликовано (со всеми следствиями и вариантами, так, чтобы ничего нельзя было обобщить), либо рассказывать всем на каждом углу, так, чтобы о результате все узнали прямо от автора.

Для реализации второго плана нужно много ездить по заграничным конференциям и конгрессам, что для нас в те годы было исключено, но для себя я все же выбрал второй из указанных Рохлиным путей: сразу же рассказывал о результатах на заседаниях и Московского, и Ленинградского математических обществ, не дожидаясь никаких публикаций.

«Нам кажется отсюда, — говорил мне В. А., — что там у них на Западе больше научной справедливости, так как людей оценивают по их научным заслугам, а не как у нас по признакам партийности и национальности. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что у нас положение дел даже лучше, так как имеется резкое расслоение на две несмешивающиеся группы: проходимцев-карьеристов и настоящих математиков. Мы знаем, кто в какой группе состоит, и, поскольку в первой группе действующих математиков быть не может, наши оценки настоящих математиков — чисто научные и более справедливые, чем на Западе, где научные и карьерные соображения не разделены».

Думаю, что эти идиллические представления (вероятно, середины шестидесятых годов) нуждаются теперь в уточнениях: наше математическое сообщество приближается к международному.

К тексту статей (как своих, так и своих учеников) В. А. относился свирепо и тратил на доведение этих многочисленных текстов до полного блеска непропорционально большое время. Он объяснил мне как-то, что «ученики делятся на две категории: интеллигентные и нет (причем ни к математическим способностям, ни к социальному происхождению это разделение отношения не имеет)».

Интеллигентному ученику, по словам Рохлина, достаточно один раз показать, как его бесструктурный несвязный лепет превратить в хорошо отредактированный и правильно структурированный текст. В начале такого текста Рохлин обычно помещал «знак качества» своей школы: «Терминология настоящей статьи — дифференциально-топологическая».

В переводе на русский язык это заклинание означает: «Автор — ученик В. А. Рохлина».

Дальнейшие тексты такого ученика уже ни в каком редактировании не нуждаются — он просто не сможет писать иначе. У других, не менее способных математически, но «неинтеллигентных» учеников и вторая, и третья статьи (которые могут содержать замечательные результаты) написаны одинаково беспомощно — все их приходится переписывать заново руководителю, а если он перестанет это делать, то соответствующие результаты будут надолго



потерины для математического сообщества (разве кто переизложит их как следует).

Когда я пожаловался Владимиру Абрамовичу на нечитаемость доказательств Я. М. Элиашберга (у которого я был оппонентом кандидатской диссертации), то В. А. ответил: «Я бы никогда не позволил своему ученику публиковать такие тексты, но Элиашберг — не мой ученик, а ученик Громова. Мишу же вы сами испортили, написав положительный отзыв на его неудобочитаемую докторскую диссертацию — я ведь устал с ним бороться и надеялся, приглашая вас в оппоненты, что вы разгромите его стиль, но вы пошли у Миши на поводу, и он навсегда решил, что сойдет и так. Вот теперь и терпите за это Элиашберга!»

Должен заметить, что я никогда не мог придумать контрпример ни к одному утверждению Громова, в то время как к утверждениям Элиашберга (всегда очень интересным) мне часто удавалось находить контрпримеры (для борьбы с которыми он всегда переделывал исходные определения своих теорий, делавшихся для меня вследствие этого совершенно недоступными). Из-за четырех или пяти подобных переделок я так и не знаю, правильно ли данное в сыктывкарской работе Элиашберга 1978 г. доказательство «гипотезы Арнольда», положившей в 1965 г. начало симплектической топологии. Недавно Яша обещал мне переиздать эту работу в английском переводе, и мы, надеюсь, узнаем, правильно ли это доказательство, опередившее на 5 лет знаменитую работу Конли и Цендера (продолженную Флоером, Чекановым, Громовым, Шапероном, Лауденбахом, Сикоровым, Хофером, Гивенталем и многими другими).

Влияние Владимира Абрамовича на стиль русских работ во многих областях математики (особенно это относится к дифференциальной и алгебраической геометрии, теории особенностей) совершенно исключительно.

Вот еще одна педагогическая теория Рохлина, в справедливости которой я с годами убеждаюсь все более и более: по его словам, ученик получает от учителя подарок, который он совершенно не в состоянии вначале оценить.

Дело в том, что учитель, ставя задачу, совершает огромную высококвалифицированную работу, выделяя важную тему и сообщая все, что он знает, о ее значении и об имеющихся в окрестности результатах (или даже об их отсутствии, что тоже очень важно). Эту деятельность можно сравнить с деятельностью егеря, выводящего охотника на нужное место, или с деятельностью проводника в Гималаях.

Хороший учитель предоставляет само решение задачи ученику, и у того создается иллюзия, будто он и в дальнейшем сможет добиваться таких же успехов: ведь он преодолел большие трудности. Но ученик, естественно, недооценивает значение той предварительной подготовительной работы, которая требует совсем иных способностей и другой квалификации и результаты которой он получил от учителя в виде подарка (состоявшего в постановке задачи и в правильной идеологии).

Даже если ученик — очень талантливый математик, способный преодолевать большие технические трудности, итог часто оказывается трагическим. Сделать что-либо новое, сравнимое с замечательным первым достижением, ученик, несмотря на весь свой талант, не может, а делать работы менее замечательные он не хочет, и потому не делает ничего. («Почему это наши талантливые молодые математики останавливаются на первом достижении и не растут?» — удивлялся Колмогоров, щедро разбрасывавший свои подарки.) Если ученик достаточно умен (не в смысле математического таланта, а в общечеловеческом смысле), то он, не гоняясь за немедленным успехом, начинает серьезно учиться и постепенно овладевает сначала своей наукой в целом, а затем и искусством выбора правильных задач. Он либо вырабатывает собственную идеологию, либо осознает, наконец, значение полученного вначале подарка и начинает требовать от учителя (или искать где-либо еще) нового подарка сравнимой ценности.

Именно этим Рохлин объяснял возникновение многочисленных эпигонских школ, разрабатывавших когда-то актуальные идеи (он назвал здесь целый ряд западных и российских математиков, но я не стану повторять названные им имена, из естественного опасения кого-нибудь обидеть, пропустив, по забывчивости, его имя).

Будучи ревнителем чистоты русского языка, В. А. болезненно относился ко всяческим проявлениям канцелярита. Он цитировал при этом своего учителя А. И. Плеснера (немецкого математика, бежавшего от Гитлера в Россию), строго редактировавшего работы для «Успехов математических наук», приговаривая: «Мне ваш русский язык обрезает уши». При всей определенности и резкости своих суждений Владимир Абрамович был безукоризненно вежлив, особенно с младшими и тем более с учениками. Его чувство собственного достоинства и даже своего величия не позволяло ему ни одного из тех унижающих человеческое достоинство приемов, которые были обычными. Несмотря на полемический задор, Рохлина отличало такое же благородное уважение к собеседнику, которое так восхищало в А. Н. Колмогорове и И. Г. Петровском.

Я помню лишь один случай, когда В. А., привыкший побеждать, вынужден был уступить более сильному противнику. Дело было в Цахкадзоре, в 1969 году.

В этом маленьком городке на высоте около 2000 м в горах Армении прежде тренировалась олимпийская сборная, а теперь была устроена зимняя математическая школа, где собралось множество опальных математиков (в большинстве — подписавших в 1968 г. «письмо 99» в защиту Есенина-Вольпина, математика-диссидента, помещенного властями в психиатрическую больницу).

С утра я, нарушая, как обычно, все запреты, один отправился на лыжах в горы. Подходя к вершине (около 3000 м — теперь туда провели подъемник, а тогда это было дикое место с чудным видом на Севан), я вышел на ребро склона и вдруг увидел метрах в двадцати торчащий из снега рыжеватый камень, который внезапно пошатнулся и покатился не вниз, ко мне, а вверх по склону. Приглядевшись, я увидел удиравшего от меня медведя.

Время шло к обеду. Быстро спустившись на лыжах по нетропутому снегу, я успел подъехать к дверям столовой как раз в тот момент, когда на столе меня уже ждала дымящаяся тарелка харчо. Открыв рот, чтобы рассказать Владимиру Абрамовичу о своем приключении, я едва не поперхнулся: в окне стекляшки я увидел своего медведя, спокойно ковыляющего по городу. В Цахкадзоре тогда откармливали медведей, как поросят, чтобы потом съест (возможно, откармливают и сейчас).

Оказалось, что этот медведь страстно любил плескаться в струе водоразборной колонки. Но умел он делать только одно из двух: либо нажимать лапой на ручку колонки, предлагая напиток другим, либо купаться и пить самому, но тогда ему нужно было, чтобы на ручку нажимал кто-нибудь другой.

Пообедав, мы с Владимиром Абрамовичем отправились на лекции и по дороге встретили медведя у колонки. Медведь решил доверить Рохлину поддержать ручку. Но В. А., не зная его повадок, оказался непонятливым и пытался отделаться от медведя словесными оборотами, которые (нисколько не оскорбляя личности собеседника), несомненно, заставили бы любого математика отказаться от попыток сотрудничества с В. А. Медведь, однако, оказался настойчивее Рохлина. Снисходя к его непонятливости, он взял в зубы угол рохлинской красивой белой куртки, а затем ему пришлось насильно подтащить к колонке сохранявшего все свое величие Владимира Абрамовича (которому нам с трудом удалось словесно объяснить, чего хочет от него медведь). Впрочем, ни математический, ни нематематический апломб В. А. от этого взаимодействия с медведем

ничуть не пострадал — ему и не такое пришлось пережить (и, я думаю, даже «дело 99», перевернувшее математическую иерархию в России, Рохлин воспринимал менее трагически и более философски, чем мы все, для кого созданные «оттепелью» Хрущева иллюзии рухнули только в 1968 г.).

Вспоминается еще один разговор с Владимиром Абрамовичем, к теме которого он возвращался много раз, — его видение будущего человечества. Главным направлением движения человечества является, по его мнению, бюрократизация, подчиняющая всевластной «номенклатуре» бюрократического аппарата все живое и творческое, что пока еще существует. Явление это, по мнению В. А., происходит не только в России, но и во всем мире, хотя и неравномерно. Рохлин считал, что этот процесс должен вскоре закончиться (ввиду компактности двумерной сферы), причем будет создано Всемирное Правительство, которое осуществит худшие предсказания замятинского «Мы» и «Brave new world» Хаксли во всемирном масштабе. Вырождающееся человечество, под руководством своих худших представителей, установит демократическим путем охлократическую диктатуру, подавляющую все сколько-нибудь выдающееся и прежде всего озабоченную остановкой любого прогресса, а следовательно, уничтожением и науки, и образования (при помощи оболванивания детей с раннего возраста телевизорами, видео и компьютерными играми).

Наш век расцвета математики и науки вообще будет тогда рассматриваться как такая же неповторимая вершина, какой мы считаем сейчас искусство итальянского Возрождения, и «Лекции о развитии математики в девятнадцатом столетии» Клейна будут читаться как «жизнеописания художников» Вазари.

«Я счастлив, — закончил Рохлин, — что до этого не доживу».

С подобными предсказаниями трудно спорить, но я все же приведу не вполне сбывшееся аналогичное предсказание Л. Н. Толстого: «Всякая власть чует, что она существует только благодаря невежеству народа, и потому инстинктивно и верно боится просвещения и препятствует ему».

Прошло уже сто лет, а просвещение все еще недобито, и это позволяет нам смотреть в будущее с некоторой надеждой.